

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Эс

С 1960 по 1973 год я получил от моего отца около ста писем (до этого мы расставались мало). Речь, таким образом, пойдет о последнем периоде его жизни. На этот период приходится два фильма, три книги, режиссерские курсы и сценарные разработки минимум шести постановок. Однако читатель, ожидающий найти здесь хоть слабое отражение масштабов и уровня этой деятельности, будет разочарован.

1965—1966 («Голубой экран»). «Я стараюсь сочинять свою книгу, но больше переделываю и сам себя зверски ругаю, чем даю товар на-гора». «Я чего-то пишу, но больше мучаюсь разным гамлетизмом». «...Работа идет худо. Больше изображения «Тисе! Папа трудится!..», чем продукции, выданной рабочим и колхозникам на-гора». «Что касается меня, то, как могу, тружусь. А могу плохо». «Смертельно надоело трудиться над книжкой: видимо, я требую от себя чего-то, что выполнить не в силах».

1969—1970 («Король Лир»). «...Хоть с проклятиями, но опять начну сразу же трудиться». «...Снимал в хвост и в гриву, а главным образом под хвост и под лысую гриву». «...Беги (...) на студию смотреть протыри и убийки». «Теперь нужно (...) не снимать, а выкручиваться». «Много трудов. Еще больше огорчений от трудов». «Трудов очень много, а радости очень мало».

1971 («Пространство трагедии»). «...Я сижу и про-бую что-то сочинять. Дело идет, увы, тихо(...) Страх

рым его поколение было предано в молодые годы. Мучительно было жить среди тотального лицемерия, вкладывая свой протест в уста Гамлета или Лира (услышат ли? поймут ли?). Еще мучительнее — переосмысливать свою жизнь. Этот процесс происходил у меня на глазах. Написал главу «Усатый-полосатый как зритель», — сообщил он мне в письме 1966 г. — Как-то после этого полечало. Остался еще шеф твоего университета, и частично долг перед потопками я выполнил».

Написать-то написал, но что из этого вышло? Три года спустя большой кусок «Глубокого экрана» с описанием того, как Сталин в качестве первого зрителя комментировал «Юность Максима», а Жданов давал директивы к будущему фильму, был запрещен цензурой. На случай неуступчивости пригрозили расписать весь набор. «Как будто сгорела белым цветом моя книга, — написал мне отец. — Обратно, весело. Хоть бы скорее всем сойтись вместе и выпить битек. Когда же это будет? Когда мы увидим небо в алмазах с овчинку». (Эту русскую антифразу — «небо в алмазах» и «небо с овчинку» — он очень любил). Когда мы встретились, я увидел верстку книги: целые страницы перечеркнуты крест-накрест шариковой ручкой с зеленой пастой.

Ю. Боров распространяет сейчас то, что он именует «притчами, легендами и апокрифами» про Сталина. Не берусь сказать, к какому из двух последних жанров следует отнести ту байку, где фигурирует мой отец, и кто ее выдумал. К счастью, собственный его рассказ теперь доступен читателям в подлинном виде.

какую-нибудь возможность неверно оценить то, что не представляется тебе таким уж важным. А, к сожалению, мелочи — иногда незначительные, иногда просто глупые — собираются в мешок. И он начинает уже что-то весить. И вот уже чашка весов в важном, настоящем деле опускается в нежелательную сторону. Еще раз прошу: забудь «надежду» и серьезно обдумай все».

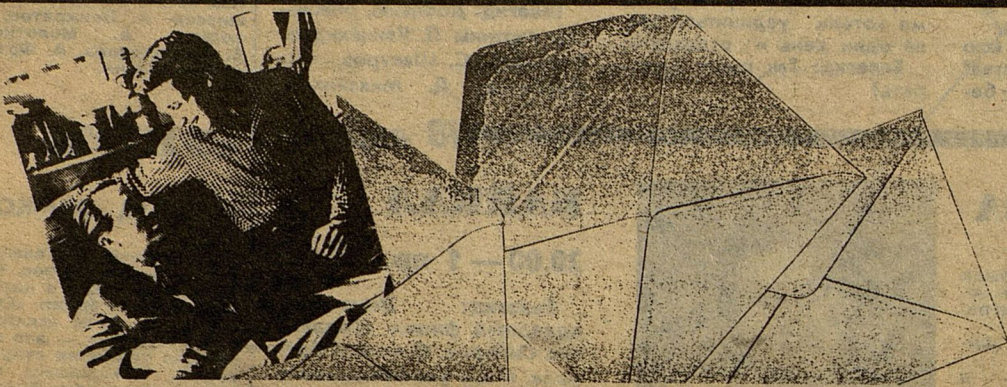
И еще письма по тому же поводу: «Ни в коем случае нельзя тебе оставить о своей работе на практике плохое воспоминание». «...Наберись терпения и если тебе придется все же оставаться здесь до конца практики, то не ищи особенных глубин, а старайся найти свой смысл в этом первом твоим выезде (...). Ответственно пишу тебе: надо воспитывать в себе терпение». И тут, почувствовав, что всей этой дидактики было уже достаточно, отец спешит переключиться в иную, куда более знакомую, тональность и добавляет: «Пишу ответственно, так как сам плохо воспитал в себе такое качество, за что и страдаю в свои, увы, сильно немолодые годы». Я остался в экспедиции до конца».

Эффективность воздействия определялась в данном случае необычностью приема. Обычным же было совершенно иное — например, письмо (по всем правилам, в конверте, с адресом и даже канцелярским номером), присланное мне не откуда-нибудь, а из соседней комнаты нашей квартиры: «Гр. Козинцеву А. Г. Ставится Вам на вид, что согласно распоряжению зав. артелью Вы обязаны вечерами сообщать по начальству «добрый ночи». А Вы, гр. Козинцев А. Г., манкируете этой обще-

«ОТВЕТСТВЕННО ПИШУ ТЕБЕ...»

Письма

Григория Козинцева — сыну Александру



берет: сколько еще работы, пока я закончу эту книгу, а ведь она по существу — относится к прошлому, а нужно двигаться куда-то дальше, а получается топтание на одном и том же месте».

1973 (последние замыслы). «Я кое-что пописываю, без точного представления, что же из этого выйдет и выйдет ли вообще».

Среди всего, что отец мне написал, я могу найти, пожалуй, две фразы, из которых явно следует, что он бывал доволен работой. О сценарии «Лира»: «Как будто, тьфу-тьфу! заканчиваю сценарий, и пока он кажется мне «ничего себе», вроде как бы и нехудой». Эта оценка показала ему недостаточно кислой, и он приписывает: «Но когда все прочту — возможны (особенно в моей практике) и сюрпризы: прочту и прокляну тщетность собственных усилий». И о съемках «Лира»: «...Но дело, хоть и медленно, но движется, и кое-что стало получаться». Правда, я опустил начало этой фразы. Вот оно: «Я все так же тружусь, больше и чаще огорчаюсь...»

Спору нет, в письмах действовали принятые в его кругу законы «знакового поведения», которые поощряли сниженный тон и причисляли к смертным грехам малейшие упоминания о «творчестве», «вдохновении». Работу над «Лириком» он, например, описывал мне и так: «...Старик Вильям нагородил такого Фантомаса со скачками, подделанными и украденными письмами, страстями и ужасами, что не пойму, как современное стыдливое кино все это вытерпит». «Съемки плетутся шагом, перепадая то на одну, то на другую плохо подкованную ногу». «Чертов старик все еще не отпускает меня на волю. Идут разные «озвучания», чем-то шумят и галдят поднадоевшие мне кадры фильма». (Почему выплыло у него из подсознания это забытое слово — «фильма»? Быть может, непочтительный тон письма вызвал в памяти буйные 20-е годы?) И наконец: «Завтра начинаю финальную перезапись «Лира», после чего, как в цирковой программе, будет исполнен марш «оревуар». А это о режиссерских курсах: «Вчера вернулись из города, где я облаивал, как Пушкин, подрастающее поколение соц-реалистов». Пушем звали нашего пса.

Но вот фразы из дневников, где нет и намека на «знаковое поведение». «Я бездарный, неопытный профессионал». «Единственное, что я еще не утратил: способность ненавидеть свои постановки. И способность терзать себя глубоко, с истинной страстью».

Успех последних фильмов был небывалым. Однако, глядя на вещи гораздо более трезво, чем в молодости, отец не мог не видеть, что некогда владевшая им мечта о счастливой гармонии с «массовым зрителем» оказалась иллюзией и притом опасной. Именно об этом он говорил в разработке шекспировской «Бури». А мне он писал о своих триумфах совсем кратко, в полупародийном стиле: «Лир» прошел при полном одобрении, доклад тоже был «тепло принят аудиторией». Вечное недовольство собой усугублялось внешними обстоятельствами. Была эпоха «застоя»; система прибретала все более отвратительные черты. Переносить окружающее отцу — человеку с тонкой кожей — было нелегко, хотя уезжать, насколько я знаю, он не собирался. У нас заключался еще и в том, что все это как-то само собой выросло из тех идеалов, кото-

Работая с крайней степенью напряжения и загоняя себя, отец не любил и не умел отдыхать. Все письма из санатория — на одной ноте. «Жизнь тут вполне дремучая». «Тяготиная адская». «Как писал Островский: «Лес, дремучий лес», «Три дня отщелкали, и на том спасибо». «Отмахали шесть нелегких дней». «Денек плодотворно заканчивается художественным кинофильмом (...), после чего начинается усиленный рост шерсти на теле и тошнота от хождения только на задних ногах». «Смотрели художественные (высокой) фильмы типа (...), от чего можно шерсть пораста. Тоже неплохо — будет теплее». «А над горами собираются темные, злобные тучи: встреча Нового Года. В объявлении написано: танцы, игры. Для меня это, как ползти голым на карачках до Троицкого моста. Хоть бы скорее все это оказалось позади». «...Мужаюсь: самое меньшее год сюда ездить не буду. И то хорошо».

А какая жизнь была ему по душе? Например, та, которую он вел на Шекспировском конгрессе в Ванкувере. (Ему было тогда 66 лет). «Жил в студенческом общежитии, — ни умы-вального, ни того, что устроено рядом с умывальником (...), не было. Нужен был, как говорят в французской части Канады, «променад» на другой этаж. А жил я на пятом. И лифт тоже не работал. Как ни странно, именно эти обстоятельства вызвали у меня... особое удовольствие, а теперь даже некоторую нежность воспоминаний. Так жили все. Самые крупные ученые, что называются, с мировыми именами. Так и должны жить интеллигентные люди. А все эти фестивали, парады и жратва-дефицит — вызывают до сих пор чувство, которое Шостакович определил как «что-то подташнивает».

Воспитывал он меня очень мало — так по крайней мере мне казалось. Огромная часть того, что он хотел мне внушить, преподносилась «между прочим», в шуточной форме и абсолютно не воспринималась мною как «воспитание».

Однако иногда ему приходилось менять тактику. Вот самый поздний пример. На первом курсе университета я не проявлял особого рвения к наукам. Впервые попал в 17 лет в экспедицию, я быстро пресытился археологической романтикой, отчаянно затосковал по дому и решил уехать при первой же возможности, о чем и сообщил домой. А в ответ я получил вот что: «Милый Сашин, сегодняшнее твоё письмо меня очень обеспокоило. Давай, что называется, сядем и спокойно обсудим положение. Ты, как это чувствуется из последних писем, собираешься отсюда уехать. Я думаю, нет смысла тебе писать, как мы по тебе соскучились, и как хотелось бы — по-старому — по-прежнему — вместе на крыльце. Однако дело не так уж просто. (...) В каждой профессии необходимо учиться, кроме разных предметов, еще одному: терпению и выработке упорства. Особенно же это необходимо в науке. Тут уж я просто уверен в своей правоте. Никто ведь тебя не посылал насильно именно в эту экспедицию, ты ее сам выбрал. Я могу себе представить по знакомой области, что молодого режиссера послали на практику в самостоятельную экспедицию Тмутаракань. (Сравнение слишком лестно — ведь еще не освоил и азав профессии! — А. К.). Нет там ни сцены, ни средств, а он, этот режиссер, хочет ставить, к примеру, «Царя Эдипа» (хорошая идея). Однако, по-моему, коли он уж выбрал специальность, то не может быть, чтобы в самых дремучих условиях не нашел чего-нибудь для себя интересного, не научился бы чему-нибудь. А с «Царем Эдипом» часто приходится подогреть».

Мне все это представляется очень важным. Прежде всего по сути. В каких-то вопросах человек не должен приучаться давать себе поблажку. Существенно это и по форме. Мне не хотелось бы, чтобы ты дал хоть

ственной обязанностью, что может повлечь за собой. Зав. артелью (подпись отца). Были у него и иные титулы — «Ответственный квартиро-вщик», «Холстомер», «Инцидентный», «Папа из бывших», а также «Фавор Олд уан» (папа-старикан).

Десятки его писем ко мне заполнены пародийным балагурством самого непритязательного свойства. Вероятно, они были нужны не только мне, но и ему — как средство хоть немного разрядить трагическое напряжение, присущее его работе последних лет. Вот как сообщается о болезни: «Мне велено десять дней валять ваньку, чтобы прекратить симуляцию».

Порой эта эксцентрика перешагивала границы чисто словесной сферы. «Но все же дела идут», — написано в одном из писем, а ниже прилепена часть фотографии из какого-то журнала: нижние половинки идущих человеческих фигур (как читатель, вероятно, догадался, это — дела). Такое пластическое «разметформирование» метафоры — прямой мостик к кинематографу, или, вернее, от кинематографа. В точности тот же прием применен в его «Шинели» 1926 г.: после надписи «дело ваше в шляпе» там показано настоящее «дело», торчащее из подлинной шляпы.

Вот еще несколько отрывков. «Сашин милый, потеха в том, что, судя по твоей телеграмме, ты прибыл аккуратно в то место, где я снимал мало-высокохудожественный фильм «Одна» в 1930 (или даже 29?) году. Жил я именно в Усть-Канском аймаке, ауле Куяган. В Канском аймаке я побывал уже несколько позже. Так что, если ты окажешься в Куягане, то торжественно остановись и почти минутой молчания место, где отец окончательно испортил себе желудок дурной пищей и ожиданием погоды, которой тогда («как сейчас помню») не было». «Электрокардиограмма показала, что у меня «утомленное сердце», что звучит не без кокетства и заставляет вспомнить старых шлюх в капотике, с крашенными переки-сью волосами». «Только что доктор (второй) велел мне пить нарзан не за 1/4 часа до еды, а за 45 мин., вследствие чего я, очевидно, буду как Алеша Попович».

Еще одно письмо из Кисловодска адресовано якобы моему сыну, который в ту пору не умел не только читать, но и ходить. «Дорогой друг Боря! Пишем мы тебе из очень скучного места, где хорошие комнаты, и все, что касается сервантов, козеток и даже калачки — ОК (о-кэй), как говорит твой отец, а за окном — холод, дождь и слякоть. Что же касается лечения, то будущее покажет; но, как говорила твоя прекрасная и неизвестная тебе родственница Лурье Роза Григорьевна (сестра матери отца, врач. — А. К.), «опыты по пересадке собачьего сердца пока результатов не дают». На этой оптимистической ноте (...) и заканчиваю. С сердечным приветом родителям и родным их. Член-корреспондент кабинета Шекспира при Тбилисском университете Г. К.»

Закончу здесь и я. Последнее письмо было на самом деле предпоследним. Отцу оставалось жить меньше трех месяцев...

Александр КОЗИНЦЕВ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24
Индекс 50182, Б 03851. Тип. 10576. Наш адрес: 101484, ГСП, Москва, ул. Новослободская, 73. Телефон для справок: 285-78-02. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
«Экран и сцена» выходит по четвергам. Цена одного экземпляра 10 коп.